



Это эссе было написано в 1848 г. Впервые опубликовано в издававшемся Элизабет Пибоди Журнале эстетики в 1849 г. под названием «Сопротивление гражданскому правительству». Автор рассуждает о том, что люди не должны позволять правительству господствовать над их сознанием и не должны идти ему на уступки, чтобы не стать жертвой несправедливости.

Этот текст русского перевода (О. В. Альбедия) воспроизводится по: «Новые пророки. Торо. Толстой. Ганди. Эмерсон» (СПб., «Алетейя», 1996).

Примечания составил А. Н. Николюкин

---

- [Генри Дэвид Торо](#)

- [notes](#)

- [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
-

## О ГРАЖДАНСКОМ НЕПОВИНОВЕНИИ

Мне по душе девиз: «То правительство хорошо, которое правит меньше всего»<sup>[1]</sup> — хотелось бы, чтобы этому следовали если не постоянно, то как можно чаще. Но хорошо подумав, можно сказать: «То правительство лучше всего, которое вовсе не правит», — лично я в этом уверен. И когда люди осознают это, именно такое правительство у них и будет. В лучшем случае, правительство всего лишь практически целесообразно, но, к сожалению, большинство правительств, если не все, — нецелесообразны. Многочисленные протесты против содержания постоянной армии заслуживают поддержки, но они должны быть выдвинуты также и против постоянной армии чиновников правительства. Постоянная армия — это руки постоянного правительства. Само правительство, которое есть лишь способ, выбранный людьми для исполнения своей воли, в равной степени склонно как обманывать, так и быть обманутым людьми, действующими с его благословения. Нынешняя мексиканская война, это пример действий сравнительно немногих людей, использующих постоянное правительство как свое орудие, потому что народ с самого начала не согласился бы на эту меру.

Что такое американское правительство, как не традиция, хотя и возникшая совсем недавно, но уже закостеневшая, каждое мгновение теряющая часть своей целостности и в таком виде стремящаяся передать себя будущим поколениям? Если один человек может подчинить его своей воле, значит, у правительства нет жизненности и силы. Для народа это что-то вроде деревянного ружья. Хотя от этого правительство не становится для него менее необходимым, потому что людям хочется реализовать свою идею правительства. Именно это дает правительству возможность успешно надувать людей, и даже самих себя к своей же собственной выгоде. Не правда ли, замечательно. К тому же, правительство, как правило, никогда само ничего не делает, а лишь с готовностью уклоняется от работы. Не оно хранит свободу страны. Не оно заселяет Запад. Не оно дает образование. В характере американского народа — доводить любое дело до завершения, и он бы делал больше, если бы правительство не становилось у него на пути. Правительству выгодно, когда люди разобщены, а еще лучше оно себя чувствует, когда об управляемых можно вовсе не думать. Предпринимательство и торговля, если бы они не были подобны резиновому мячу, никогда не смогли бы перепрыгнуть через препятствия, непрерывно воздвигаемые законниками на их пути; и если бы этих людей судили по результатам их действий, а не только по намерениям, то пришлось бы рассматривать их и наказывать как злоумышленников, устраивающих аварии на железных дорогах.

Рассматривая все с позиции здравого смысла, я, как гражданин, не являюсь противником вообще правительства, но призываю уже сейчас подумать о лучшем правительстве. Если каждый человек начнет размышлять о том, какое правительство будет вызывать у него уважение, — это уже явится шагом к его появлению.

Практика показывает, что причиной прихода к власти народа, когда большинству позволено, и довольно долго, управлять, является не правота большинства и не мнение меньшинства, что это справедливо, а лишь то, что большинство физически сильнее. Поэтому, в любом случае, правительство, которым управляет большинство, основано не на справедливости, как бы ни понимали ее люди. Разве не может существовать правительство, в котором большинство решает, что верно, а что нет, не в соответствии с делом, а в соответствии с

совестью; правительство, в котором большинство решает только те вопросы, к которым применимо правило разумной целесообразности? Может ли гражданин хоть на секунду передоверить свою совесть законодателю? Зачем тогда каждому человеку совесть? Я думаю, что мы прежде всего должны быть людьми, и только потом — подданными. Нежелательно воспитывать такое же уважение к закону, как к справедливости. Единственная обязанность, которую я могу принять на себя — это в любое время делать то, что я считаю справедливым. Довольно точно сказано, что у общества нет совести, но общество совестливых людей — это общество с совестью. Закон не делает людей ни на йоту более справедливыми, а поскольку они чтут его, то даже доброжелательные ежедневно становятся вершителями несправедливости. Результатом всеобщего заблуждения из-за чрезмерного почитания закона является то, что вы можете видеть колонны солдат, рядовых и полковников, капитанов, капралов и всех прочих, марширующих стройными рядами через горы и доли на войну против своей воли и, увы, против здравого смысла и совести, что делает их марш, в самом деле, невероятным и вызывает сердечную боль. Внутри себя каждый из них не сомневается, что дело, которым их принуждают заниматься — отвратительно, ибо миролюбие — естественное свойство человека. Так кто же они теперь? Люди или маленькие подвижные крепости и склады на службе какого-то бесчестного человека у власти? Посетите военный порт и взгляните на морского пехотинца, — вот человек, какого может создать американское правительство или черный маг, — просто тень и воспоминание о человеке, — еще живой, еще на ногах, но уже, можно сказать, погребенный под похоронный марш и прощальный залп, хотя бывает и иначе...

Над той могилой в барабан не били,  
И залп прощальный не звучал,  
Его мы тут же спешно и зарыли  
На поле боя, где он пал<sup>[2]</sup>.

Массы людей служат таким образом правительству не как люди, а как машины, — своими телами. Они составляют постоянную армию, милицию, тюремщиков, констеблей и *posse comitatus*<sup>[3]</sup>. У большинства из них нет нравственного чувства, они не способны к свободному суждению и этим ставят себя на уровень бессловесного дерева или камня. Если бы можно было сделать деревянных людей, они бы также хорошо служили этим целям. Эта команда заслуживает уважения не больше, чем соломенное чучело или чурбан. Они такое же имущество, как лошади и собаки. Однако они обычно считают себя добрыми гражданами. Другие — в большинстве своем законодатели, политики, юристы, священники и чиновники — служат государству, главным образом, головой, и, поскольку они редко делают какие-либо моральные разграничения, кажется, что они служат скорее дьяволу, чем Богу, не затрудняясь даже скрывать это. Лишь немногие люди — герои, патриоты, мученики, подлинники реформаторы — служат государству на совесть, и поэтому, зачастую, в силу необходимости, сопротивляются его искажениям, и за это их обычно считают врагами государства. Мудрец может быть полезен только как человек и не потерпит, чтобы его превратили в затычку для дыры, «чтобы не дуло»<sup>[4]</sup>, в крайнем случае, он отойдет в сторону:

... так высок мой род,

Что не могу я быть ничьим слугой,  
Приказы получать, как подчиненный,  
Как подданный, и быть слепым орудием  
Какой-нибудь державы<sup>[5]</sup>.

Тот, кто отдает всего себя на служение своим братьям, кажется им бесполезным и эгоистичным, а тот, кто отдает лишь часть себя, — провозглашается благодетелем и филантропом.

Как должен человек в наше время относиться к такому американскому правительству? Я отвечаю: он не может связаться с ним, не запятнав себя позором. У меня в голове не уместается, что такая политическая организация как *мое* правительство, является также правительством *рабов*.

Все признают право на революцию, т. е. право отказать в лояльности и оказать сопротивление правительству, когда его тирания или неспособность к управлению велики и невыносимы, но почти все говорят, что сейчас не такой случай. Они думают, что такой случай был в Революцию 1775 года. Если мне скажут, что то правительство было плохое, потому что оно облагало налогами некоторые заграничные товары, привозимые в порты, то я скорее всего не стал бы поднимать шума: ведь можно обойтись без этих товаров. У всех механизмов есть трение, и возможно сама машина приносит достаточно пользы, чтобы уравновесить это зло. В любом случае неправильно акцентировать на нем всеобщее внимание. Но когда трение само становится машиной, производящей угнетение и грабеж, не хватит ли нам терпеть такую машину, спрашиваю я. Другими словами, когда шестая часть нации, провозгласившей себя прибежищем свободы, остается рабами, а целая страна завоевывается и разграбляется армией захватчиков и управляется по военным законам, то я думаю, что сейчас самое время для честного человека оказать сопротивление и неповиновение. А что делает это необходимым и настоящим, так это то, что разграбленная страна не наша собственная, и мы являемся армией захватчиков<sup>[6]</sup>.

Пейли<sup>[7]</sup>, признанный авторитет в моральных вопросах, в своей книге, в главе «Обязанность подчинения гражданскому правительству», сводит все гражданские обязанности к рассудочной целесообразности и говорит следующее: «Пока интересы всего общества требуют этого, т. е., пока назначенному правительству нельзя оказать сопротивление или сменить его, не вызывая общественного беспокойства, в воле Божьей повиноваться такому правительству, но не дольше... Применяя этот принцип, следует свести справедливость каждого частного случая сопротивления к расчету количества опасности ущерба с другой.» Об этом, считает он, каждый человек будет судить самостоятельно. Но Пейли, кажется, никогда не размышлял о случаях, к которым неприменимо правило рассудочной целесообразности, когда и народ, и отдельный человек должны вершить справедливость, во что бы то ни стало. Если я несправедливо вырвал опору у тонущего, то я должен вернуть ее ему, хотя бы сам и утонул<sup>[8]</sup>. Согласно Пейли, это не совсем так, не стоит так горячиться. Но тот, кто хочет подобным образом душу свою сберечь, потеряет ее<sup>[9]</sup>. Наш народ должен положить конец рабовладению и войне с Мексикой, хотя бы это стоило ему существования как народу.

В своей обыденности народы согласны с Пейли, но мог ли кто предположить, что Массачусетс сделает именно то, что нужно при нынешнем кризисе?

Несете яркий шлейф на шляхе-государстве,  
Когда душа его волочится в грязи.

В сущности, противниками реформы в Массачусетсе является не сотня тысяч политиков на Юге, а сотни тысяч лавочников и фермеров на Севере, которых больше волнуют вопросы торговли и хозяйства, чем проблемы гуманности, — они не готовы совершить справедливость по отношению к рабам и Мексике, во чтобы то ни стало. Так что я выступаю не против далеких врагов, а против тех, кто здесь, дома, своей пассивностью пособляет им, без чего те, далекие, не имели бы той силы. Рассуждения о том, что реформы медленны, потому что массы не готовы, не делают меньшинство умнее и лучше, чем большинство. И не стоит плевать на все вокруг, только потому, что где-то есть абсолютное добро, на фоне которого люди выглядят непривлекательно. Как много тех, которые только на словах являются противниками рабства и войны, но ничего не делают, чтобы положить этому конец; тех, которые, считая себя последователями Вашингтона и Франклина, сидят сложа руки, говоря, что они не знают, что делать, и не делают ничего; тех, которые поднимают вопрос о свободе только в связи со свободой торговли и спокойно читают послеобеденную газету с сообщениями о последних ценах и новостями из Мексики, и после этого спокойно засыпают. Что значат последние цены для честного человека и патриота? Эти многие сожалеют, раскаиваются и иногда негодуют, но ничего не делают всерьез и надолго. Они выжидают, предпочитая, чтобы другие устранили зло и избавили их от мук совести. Самое большое, на что они способны, это отдать свой дешевый голос, хилую моральную поддержку и пожелание успеха правому делу. 999 покровителей добродетели приходится на одного добродетельного человека. Но легче иметь дело с одним настоящим владельцем вещи, чем с ее временным хранителем.

Все голосования — это род игры, вроде трик-трака, с легким моральным оттенком, игры в правильное и неправильное с вопросами морали, и заключение пари, естественно, сопровождают ее. Причина этого в том, что у избирателей нет кровной заинтересованности. Я отдаю свой голос случайно, за то, что считаю правильным, но я не заинтересован жизненно в том, чтобы эта сторона победила. Я полагаюсь на волю большинства. Поэтому обязательность голосования никогда не выходит за пределы рассудочности. Проголосовать за справедливость — еще не значит что-то сделать для нее. Это лишь слабое проявление перед людьми вашего желания победы справедливости. Мудрец не оставит справедливость на произвол случая и не пожелает ей победы силой большинства: в действиях большинства слишком мало добродетели. Когда большинство, в конце концов, проголосует за отмену рабства, то это случится или потому, что они безразличны к рабству, или потому, что от рабства уже почти ничего не останется, и поэтому станет возможным отменить его голосованием. Они будут тогда единственными рабами. Лишь голос того может ускорить отмену рабства, кто отстаивает таким образом собственную свободу.

Я слышал о конференции<sup>[10]</sup>, которая пройдет в Балтиморе или еще где-то, для выбора кандидата в президенты, и что на ней будут присутствовать, главным образом, редакторы и профессиональные политики, и я подумал: какое значение будет иметь решение, к которому они придут, для любого независимого, разумного и почтенного человека, каковыми большинство себя считает? Почему же, несмотря ни на что, подобный человек не воспользуется преимуществами ума и чести? Неужели мы не в состоянии подсчитать независимые голоса? Разве мало людей в стране, которые не посещают конференций? Но вот я вижу, что, так называемый, почтенный человек уже сменил под их влиянием свою позицию и потерял веру в

свою страну, хотя у страны гораздо больше оснований потерять веру в него. Он уже принял одного из кандидатов, избранного таким образом, как единственно перспективного, доказывая тем самым, что он сам перспективен, как цель для любой демагогии. Его голос не намного лучше, чем голос любого беспринципного иностранца или продажного обывателя. О, где же человек, что был бы Человеком, и которого, как говорит мой сосед, не скрутить, не подкупить! Наша статистика заблуждается, сообщая, что население очень велико. Сколько Человек приходится на тысячу квадратных миль в этой стране? Едва ли один. Почему бы Америке не придумать какой-нибудь стимул, чтобы в ней рождались Люди? Американец выродился в чудака<sup>[11]</sup>, известного развитым органом стадности, недостатком интеллекта и неунывающей самоуверенностью, чья первая и главная мысль, по пришествии в мир, — убедиться, что богадельни в полном порядке, и, еще не облачившись законно в мужской костюм, собирать фонд для поддержки вдов и сирот; в нечто такое, что рискует жить только с помощью страховой компании, которая обещает похоронить его благопристойно.

Разумеется, в обязанности человека не входит искоренение любого, даже самого вопиющего, зла, — здесь каждый волен руководствоваться своими взглядами на этот счет, но необходимо, по крайней мере, умыть руки, чтобы если уж отстраняться от борьбы, то хотя бы никак не поддерживать зло. Если я решил, что борьба со злом — это не мое дело, а мое дело — совсем в другом, то, по меньшей мере, необходимо понять, что не следует делать это другое дело, сидя у кого-нибудь на шее. Сначала я должен отпустить его, чтобы и он мог заняться своим делом. Посмотрите, какое огромное противоречие получается! Я слышал как один из моих земляков сказал: «Приказали бы они мне участвовать в подавлении восстания рабов или маршировать в Мексику, — только б они меня и видели». Но, между тем, эти же самые люди либо непосредственно своей лояльностью, либо опосредованно, по крайней мере, своими деньгами, обеспечивают себе замену. Солдату, который отказывается участвовать в несправедливой войне, аплодируют те, кто не отказывается поддерживать несправедливое правительство, ведущее эту войну; те, чьи действия и власть он, на словах, не признает; это все равно, как если бы государство, раскаиваясь, наняло кого-нибудь, чтобы бичевать его за свои грехи, но умеренно, ибо оно не может перестать грешить хоть на мгновение. Приходится констатировать, что прикрываясь именем Порядка и Гражданского Правительства, все мы, в конце концов, воздаем уважение и поддержку собственной низости. После первой краски стыда за грех приходит безразличие, и из аморального это становится, как уже бывало, внеморальным и, следовательно, не слишком необходимым для той жизни, какую мы ведем.

Одно из самых больших заблуждений — это рассчитывать на бескорыстие и добродетельность. Благородного человека чаще всего могут упрекнуть в недостатке патриотизма. Тот же, кто хоть и осуждает меры правительства, но, тем не менее, лоялен и поддерживает его, несомненно делает это сознательно, — именно эти люди чаще всего являются наиболее серьезным препятствием для реформ. Некоторые требуют, чтобы штаты распустили союз и игнорировали полномочия президента. Так почему бы им не распустить самих себя — союз между собой и штатом — и отказаться платить свою долю в его казну? Разве они не в том же положении по отношению к штату, как штат — к союзу? И разве не одни и те же причины вызывают сопротивление штата по отношению к союзу, и между людьми и штатом?

Разве может человек найти удовлетворение и радость в затаенной мысли? Разве может быть радость от мысли, вызванной обидой? Если сосед надул вас на один доллар, то ведь вы не удовлетворитесь только осознанием этого, или высказыванием этого вслух, или обращением к нему с требованием вернуть причитающееся; вы примете решительные меры, чтобы получить все сполна и позаботитесь, чтобы вас не надули снова. Действия в соответствии с основами, понимание и следование справедливости, — именно это изменяет сущность и

обстоятельства, — они истинно революционны, а не слеплены из обломков прошлого. Это разделяет не только государства, церкви и семьи, увь, это разделяет и человека, отделяя в нем дьявольское от божественного.

Существуют несправедливые законы. Должны ли мы их просто соблюдать или нужно пытаться изменить их, соблюдая существующие, пока не добьемся своего, а может, лучше сразу отменить их? Обычно люди, при таком правительстве, как нынешнее, считают, что они должны ждать, пока не завоюют большинства, чтобы сменить правительство. Они думают, что если станут сопротивляться существующему, то средство может оказаться хуже самого зла. Это очень устраивает правительство. Но именно само это суждение и есть худшее зло. Почему правительство не может предвидеть и провести реформы? Почему оно не заботится о мудром меньшинстве? Почему оно вопит и возмущается еще до того, как его оскорбили? Почему оно не заботится о том, чтобы граждане имели возможность указать на его ошибки, для их исправления? Почему всегда распинают Христа, отлучают Коперника и Лютера, а Вашингтона и Франклина объявляют бунтовщиками?

Можно подумать, что сознательное несогласие с политикой правительства не является правонарушением, но тогда почему за это предусмотрено вполне определенное и соответствующее наказание? Если человек, у которого нет собственности, хотя бы раз откажется заработать 9 шиллингов для штата — его посадят в тюрьму на не определенное никаким, насколько я знаю, законом время, по усмотрению того, кто посадит его туда, но, если он украдет у штата 90 раз по 9 шиллингов — его достаточно быстро выпустят на свободу.

Если несправедливость — это часть необходимого трения правительственной машины, то и пусть его; понятно, что машина будет снашиваться. Если же несправедливость становится всем механизмом, действующим только для себя, то вы, вероятно, можете подумать: не будет ли лекарство хуже болезни, а, если этот механизм к тому же требует, чтобы вы совершали несправедливость по отношению к другим, то я посоветую разбить его. Пусть ваша жизнь станет тем, что остановит подобную машину. Во всяком случае, я должен следить за тем, чтобы не служить тому злу, которое я осуждаю.

Что же касается методов, которыми государство обеспечивает устранение зла, то я таковых не знаю. Все это отнимает слишком много времени, а человеческая жизнь коротка. У меня же много других дел. Я пришел в этот мир не для того, чтобы превратить его в место, сносное для жизни, но для того, чтобы жить в нем, хорош он или плох. Нельзя объять необъятное, но то, что человек не в состоянии сделать все, вовсе не означает, что что-то можно делать плохо. У меня нет желания обращаться с прошениями к губернатору или в законодательный орган штата, ведь они же не обращаются подобным образом ко мне, но если они не прислушиваются к моим аргументам, то что я тогда должен делать? Для этого случая государство не предоставляет линии действия: сама его конституция есть зло. Это может показаться резким, упрямым и непримиримым, но нужно с крайней доброжелательностью и вниманием рассмотреть сам дух этого и оценить его по достоинству. Все изменяется к лучшему именно подобным образом, — рождение и смерть одинаково сотрясают тело.

Я не сомневаюсь, что все, кто называет себя аболиционистами, должны сразу, решительно отвергнуть поддержку правительства Массачусетса как моральную, так и материальную, и не ждать, пока получат большинство, позволяя закону господствовать над ними. Я убежден, что Бог на их стороне, а что еще надо. Можно утверждать, что эти люди более правы, чем их соседи, составляющие большинство.

Непосредственно, лицом к лицу, я встречаюсь с американским правительством или правительством штата не более раза в год, в лице их представителя — сборщика налогов; это единственный случай, когда всем нам приходится, по необходимости, встречаться с ним.

Правительство четко заявляет: «Признавай меня». Так вот простейший и наиболее эффективный, в данных обстоятельствах, необходимейший способ обращения с ним — это, выказав минимум радости и признательности, отказать ему в этом. Хочу рассказать вам о моем соседе: он, по воле случая, является как раз тем самым сборщиком налогов и был выбран исполнителем воли правительства произвольно, но мне-то приходится дискутировать не с бумагой, а с ним. Как могу я узнать, кто он, и в какой мере он действует как должностное лицо и в какой — как человек; мне нужно подумать: относится ли он ко мне, своему соседу, которого он уважает, как к ближнему, благоразумному человеку или как к маньяку и нарушителю спокойствия, и посмотреть, сможет ли он преодолеть добрососедские чувства из грубого и опрометчивого намерения выступить в соответствии со своим положением. Я убежден, что если бы тысяча или сотня, даже десяток уважаемых людей, которых я мог бы назвать поименно, — всего лишь десяток, — да, если бы хоть один уважаемый человек в штате Массачусетс отказался бы иметь рабов и был бы по этой причине изгнан из общества и посажен в тюрьму графства, то это и было бы отменой рабства в Америке. В таких делах, каким бы незначительным не показалось начало, действует закон: что сделано однажды, то сделано навсегда. Но мы предпочитаем рассуждать об этом, сетуя, что такова наша судьба. Реформе служит множество газет, но ни одного человека. Если бы мой почтенный сосед, член палаты представителей штата, посвящающий свои дни обсуждению в палате вопроса о правах человека и подвергающийся опасности попасть за решетку в штате Каролина<sup>[12]</sup>, сидел бы в тюрьме в Массачусетсе, том штате, что так яростно приписывал грех рабства своей соседке, — хотя ныне предметом спора с ней может стать лишь закон о неукрытии беглых рабов, — то тогда законодательное собрание штата не смогло бы этой зимой отложить обсуждение вопроса на неопределенное время.

При правительстве, которое судит только несправедливо, настоящее место для такого человека именно в тюрьме. Сегодня единственное подходящее место, какое Массачусетс может обеспечить своим свободным и наименее подавленным душам, — это его тюрьмы, куда они могут быть брошены по закону штата, и куда они сели бы в соответствии со своими принципами. Именно здесь должны были бы найти их и беглый раб, и мексиканский военнопленный, и индеец, выступающий против угнетения своего народа, в том изолированном, но более свободном и почтенном месте, куда государство помещает тех, кто не с ним, а против него, — единственном доме в рабовладельческом государстве, где свободный человек может пребывать с честью. Кто-то может решить, что так они утратят влияние, и их голоса больше не достигнут ушей правительства, что их, запертых в этих стенах, уже не будут учитывать как врагов, но они заблуждаются и не понимают, что куда более убедительно и решительно сражается с несправедливостью тот, кто хотя бы немного испытал ее на себе. Отдайте не просто листок бумаги, не просто голос, но устремите все ваши усилия. Меньшинство бессильно, пока оно соглашается с большинством, — тогда оно даже не меньшинство, но оно непобедимо, когда препятствует чему-либо всеми своими устремлениями. Если государство будет поставлено перед выбором: либо посадить в тюрьму всех таких людей, либо положить конец войне и рабству, — то оно не станет колебаться. Если бы тысяча человек не заплатили налоги в этом году, это не было бы такой жестокой и кровавой мерой, нежели, заплатив их, дать возможность правительству совершать насилие и проливать невинную кровь. По сути дела, это решающий фактор в мировой революции, если такая возможна. Если сборщик налогов или любой другой государственный служащий спросит меня, как было однажды: «Но, что же мне делать?» — я отвечу: «Если вы действительно хотите что-нибудь сделать, откажитесь от своей службы». Когда подданный отказался от лояльности, а офицер отверг службу — революция свершилась. Но предположим, что даже прольется кровь. Разве это та кровь, что течет, когда ранена совесть? Из этой раны вытекает подлинная человечность и бессмертие, а агония длится бесконечно. Я вижу,

как течет сейчас такая кровь.

Я пришел к выводу, что заключение в тюрьму подобного нарушителя закона предпочтительнее, чем конфискация его имущества, хотя и то, и другое служит одной цели, потому что те, кто отстаивает высшее право и, следовательно, наиболее опасны для продажного государства, обычно не тратят много времени на накопление собственности. Таким людям государство дает сравнительно небольшие должности, а необременительный налог не представляется чрезмерным, особенно, если они должны отработать его своими руками на особых работах. А если бы нашелся тот, кто жил бы вовсе не пользуясь деньгами, то государство само постеснялось бы требовать их у него. Но богатый человек — не делая никаких оскорбительных сравнений — всегда запродан тому строю, который делает его богатым. Говоря проще, — чем больше денег, тем меньше добродетели, ибо деньги становятся между человеком и его предназначением и обеспечивают его, а получать — это, конечно, не великая добродетель. Они устраняют многие проблемы, которые, в ином случае, ему бы пришлось решать, но с ними возникает главная проблема, которая ставит вопрос, трудный, но не излишний: на что их потратить. Поэтому его моральная опора уходит из-под ног. Возможность жизни уменьшается в той пропорции, в какой увеличиваются, так называемые, *средства*. Лучшее, что может сделать человек для своей эпохи, когда он богат, — это постараться осуществить те замыслы, которые он лелеял, будучи бедным. Как Христос ответил иродианам о такой ситуации? «Покажите мне монету, которою платится подать»<sup>[13]</sup>, — сказал он, и один из них достал пенни из своего кармана. Если вы пользуетесь деньгами с изображением кесаря, которые он выпускает и устанавливает ценными, т. е., если вы люди государства и счастливо наслаждаетесь преимуществами правления кесаря, то платите ему часть его собственности, когда он потребует. «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу»<sup>[14]</sup>, — и остались они не мудрее, чем прежде, ибо они не хотели знать.

Когда я разговариваю с самым свободомыслящим из своих соседей, я убеждаюсь, что, чтобы они не говорили о важности и серьезности вопроса и своем отношении к общественному спокойствию, суть дела в том, что они не могут обойтись без защиты существующего правительства и боятся последствий своего неповиновения ему из-за своих семей и имущества. Что касается меня, то я не думаю, что когда-либо буду нуждаться в защите государства. Но если я отрицаю право государства предъявлять мне налоговую декларацию, то оно быстро отберет и продаст всю мою собственность и будет при этом без конца выматывать меня и моих детей. Это трудно. Невозможно человеку жить честно и в то же время благополучно, пользуясь уважением окружающих. Тогда стоит ли накапливать имущество, если уверен, что снова потеряешь его. Нужно или наняться, или поселиться где-нибудь, чтобы можно было вырастить хотя бы маленький урожай и быстро употребить его. Необходимо жить самостоятельно и зависеть только от себя, не иметь много дел и всегда быть готовым сняться с места. Человек может стать богатым даже в Турции, если он будет во всех отношениях добрым подданным турецкого правительства. Конфуций сказал: «Когда государство управляется согласно с разумом, постыдны бедность и нужда; когда государство не управляется согласно с разумом, то постыдны богатство и почести»<sup>[15]</sup>. Когда я хочу, чтобы защита властей Массачусетса простиралась на меня в каком-либо далеком южном порту, где моя свобода подвергается опасности — это одно, но, когда я склонен заниматься дома мирным хозяйством, я могу позволить себе отказать в лояльности Массачусетсу и его праву на мою собственность и жизнь. В любом случае, это обойдется мне дешевле: лучше подвергнуться наказанию за неповиновение государству, чем подчиниться ему. В последнем случае я бы чувствовал себя ничтожеством.

Несколько лет назад государство явилось ко мне от имени церкви и повелело платить

определенную сумму для поддержки священников, чьи проповеди посещал мой отец, но никогда — я сам. «Плати, — было сказано, — или попадешь в тюрьму». Я отказался платить. Но, к несчастью, другой человек счел нужным заплатить за меня. Я не понимаю, почему школьный учитель должен платить налог на нужды священника, а не священник — учителя; я не был государственным школьным учителем, но я собирал себе средства по свободной подписке. Я не понимаю, почему бы школе не предоставить собственные претензии на налог и не заставить государство удовлетворить ее потребности также, как и церкви. Однако, по просьбе некоторых близких, я унился до составления некоего заявления в следующих выражениях: «Настоящим заявляю ко всеобщему сведению, что я, Генри Торо, не желаю считаться членом любого корпоративного сообщества, в которое я не вступал». Я вручил это городскому клерку, и он хранит его. Государство, извещенное таким образом, что я не желаю считаться членом этой церкви, с тех пор никогда не предъявляло мне подобных требований, хотя оно и заявило, что будет строго придерживаться своих положений. Если бы у меня был полный перечень, я бы отказался от членства во всех обществах, в которые не вступал, но я не знал, где найти его.

Я не платил подушный налог шесть лет. Однажды из-за этого меня посадили в тюрьму на одну ночь <sup>[16]</sup>, и, пока я находился там, рассматривая каменные стены двух или трехфутовой толщины, деревянную дверь толщиной в фут, окованную железом, и железную решетку, заслонявшую свет, я не мог не поражаться глупости того общественного устройства, что рассматривало меня просто как кусок плоти с кровью и костями, который можно запереть. Я полагаю, они наконец-то решили, что нашли мне наилучшее применение, но жаль, что они не додумались воспользоваться моими услугами каким-либо иным образом. Я думал о том, что если бы между мной и моими согражданами была бы действительно каменная стена, то им бы пришлось с большими трудностями перебираться или пробиваться через нее, чтобы стать такими же свободными, как и я. Ни на мгновение я не чувствовал себя заключенным, а стены являли собой пустую трату камней и раствора. У меня было ощущение, что я один из всех моих сограждан заплатил налог. Они просто не знали, что делать со мной, и вели себя как невежды. В каждой угрозе и в каждой похвале была грубая ошибка, потому что они думали, что мое главное желание — быть по ту сторону этой каменной стены. Я не мог не улыбаться, глядя как старательно запирали они мои мысли, которые однако не испытывали никаких помех, а ведь именно они и были опасны. Что ж, поскольку мысли им не доступны, они решили наказать мое тело, как мальчишки, обижающие собаку человека, на которого они затаили зло. Я понял, что государство страдает слабоумием, что оно отжило свой срок, как старая дева со своими серебряными ложками, и уже не отличает друзей от врагов, и тогда я потерял к нему остатки уважения и пожалел его.

Вот почему государство не в состоянии что-либо предпринять против человеческого сознания, интеллектуального или морального, а только против его тела и его чувств. Оно не обладает верховной мудростью и честностью, а имеет только превосходящую физическую силу. Но я не рожден для принуждения. Я хочу жить на свой собственный лад. Посмотрим, кто сильнее. Разве толпа обладает силой? Она может лишь физически уничтожить меня, того кто повинуется высшему закону. Она хочет вынудить меня стать подобным ей самой, но я не слышал о Людях, которых толпа заставила бы жить тем или иным образом. И что это за жизнь? Когда я сталкиваюсь с правительством, которое заявляет: «Кошелек или жизнь», — почему я должен торопиться отдать ему свои деньги? Может быть, оно в большом затруднении и не знает, что делать, но мне нечем ему помочь. Оно должно учиться само себе помогать: как это делаю я. И не стоит причитать по этому поводу. Я не отвечаю за успешную работу общественного механизма. Я не сын инженера. Ведь понятно, что, когда желудь и каштан падают рядом, то ни один не может уступить дорогу другому, но оба, повинувшись собственной природе, пускают

корни, растут и расцветают, пока кто-нибудь из них, случайно, не затенит другого. Если растение не может жить в соответствии со своей природой — оно умирает. Точно также и человек.

Ночь в тюрьме была для меня делом новым и довольно интересным. Когда я вошел, заключенные, в одних рубашках, наслаждались болтовней и вечерним воздухом у входа. Но тюремщик сказал: «Идите ребята, пора запирать», — поэтому они разошлись, и я слышал звук их шагов, когда они возвращались в пустые камеры. Тюремщик представил мне моего сокамерника как «умника и выдающуюся личность». Когда дверь заперли, этот *умник* показал мне, где повесить шляпу и расположиться. Камеры ежемесячно белили и наша, хотя и предельно просто меблированная, была, вероятно, самым белоснежным и опрятным помещением в городе. Естественно, что он захотел узнать, откуда я, и что привело меня сюда. Рассказав ему, я, в свою очередь, тоже спросил, как он сюда попал, не сомневаясь, конечно же, в его порядочности и честности, — поскольку у меня все было в порядке, то я верил, что и у него также. «Они почему-то считают, — сказал он, — что я сжег амбар, но я не делал этого». Насколько я мог понять, он, вероятно, уснул пьяным в амбаре и курил там трубку, — вот амбар и сгорел. Здесь у него репутация умного человека и он уже около трех месяцев ждет суда и готов ждать сколько угодно, так как он — человек легко привыкающий и вполне доволен тем, что живет на всем готовом и с ним хорошо обращаются.

Он устроился у одного окна, а я у другого, сообразив, что если остаться здесь надолго, то главным моим делом станет смотрение в окно. Скоро я прочел все оставшиеся здесь надписи, узнал о случившихся прежде побегах и о том, как подпиливалась решетка; услышал рассказы о бывших обитателях этой камеры и обнаружил, что даже здесь есть своя история, сплетни и светская хроника, никогда не выходящие за стены тюрьмы. Вероятно, это единственный дом в городе, где сочиняющиеся стихи передаются из уст в уста, но не печатаются. Мне показали довольно длинный список стихов, сочиненных какими-то молодыми людьми, уличенными в подготовке побега, которые распевали их, вымещая таким образом свою досаду.

Я выкачал из моего сокамерника все, что он знал, боясь, что никогда не увижу его снова, но, в конце концов, он показал мне мою постель и поручил задуть лампу.

Все это напоминало путешествие в далекую страну, несколько неожиданное для меня, — одна ночь в тюрьме. Мне казалось, что никогда прежде я не слышал ни боя городских часов, ни вечерних звуков поселка, ведь мы спали с окном, открытым по эту сторону решетки. Мой родной поселок представился мне в свете средневековья, а наш Конкорд превратился в Рейн, — образы рыцарей и замков проходили передо мной, а голоса, доносившиеся с улицы, принадлежали старым бюргерам. Я был невольным наблюдателем и свидетелем того, что происходило по соседству, в кухне поселковой гостиницы, — это были совершенно новые и необычные для меня впечатления. Это был более проникновенный и пристальный взгляд на мой родной городок. Я был полностью внутри него. Никогда прежде я не видел этих заведений. А это было — одно из особых, ведь городок был центром графства. И я начал понимать, что представляют собой его обитатели.

Утром наш завтрак подали через отверстие в дверях в маленьких прямоугольных жестяных чашках, вставляющихся одна в другую, и содержащих пинту какао с серым хлебом. Когда забирали посуду, я оказался настолько неопытным, что собирался вернуть оставшийся хлеб, но мой товарищ вовремя перехватил его, сказав, что я должен оставить хлеб для ленча и обеда. Скоро он отправился работать на сенокос в ближайшее поле, куда ходил ежедневно, и должен был вернуться не раньше полудня, поэтому он пожелал мне всего хорошего и сказал, что не думает увидеть меня снова.

Выходя из тюрьмы, — потому что кто-то вмешался и уплатил этот налог <sup>[17]</sup>, — я и не

подозревал, какие огромные изменения произошли в обычном мире: как если бы кто-то расстался с юношей, а встретил его потом уже трясущимся и седым стариком, — правда, изменения в городе, государстве и стране, представившиеся моему взору, были большими, чем производит время. Я более ясно стал все видеть. Например, что люди, среди которых я жил, могут считаться добрыми соседями и друзьями, но дружба их — лишь на один сезон. Еще я увидел, что они не слишком расположены вершить справедливость, и что они, со своими предубеждениями и предрассудками, были чуждым мне народом, как китайцы или малайцы. Я увидел, что они легко приносят в жертву гуманность ради собственности, и что, кроме всего прочего, они не столь уж и благородны, ибо поступают с вором также, как и он с ними, но при этом рассчитывают спасти свои души исполнением нескольких внешних ритуалов, молитвами и, иногда, правильным жизненным путем, — правда, в ложном направлении.

Раньше в нашем поселке был такой обычай: когда бедный должник выходил из тюрьмы, его знакомые спрашивали его: «Как поживаешь?» — и делали пальцами решетку. Мои соседи не приветствовали меня таким образом, но смотрели на меня и друг на друга так, будто я вернулся из долгого путешествия. Кстати, меня забрали в тюрьму, когда я собирался идти к сапожнику, чтобы починить башмаки. Когда же на следующее утро меня выпустили, я поспешил закончить это дело и, обув починенные башмаки, присоединился к компании, собравшейся за черникой и ждавшей, когда я их поведу; уже через полчаса — лошадь быстро оседлала — я был в гуще зарослей черники в двух милях от городка, на одном из самых высоких холмов, откуда можно было увидеть весь штат.

Вот и вся история «Моих темниц»<sup>[18]</sup>.

Я никогда не отказывался платить дорожный налог, потому что я так же жажду быть добрым соседом, как и плохим подданным; и что касается поддержки школ, то я тоже делаю свой вклад в образование моих сограждан. Но я отказываюсь платить подушный налог, потому что в налоговой декларации не указано, на что он идет. Я просто хочу отказать в лояльности государству, отойти и, действительно, стоять в стороне от его дел. При всем желании, я не могу проследить путь моего доллара до того момента, когда его выплатят наемнику или купят на него мушкет, чтобы застрелить из него кого-нибудь, — доллар анонимен, — но я в состоянии отследить действие своего неповиновения. По сути дела, я по-своему, тихо объявляю войну государству и надеюсь, что это принесет если не преимущество, то хотя бы некоторую пользу.

Если другие платят тот налог, что требуют с меня, из симпатии к государству, то этим они делают больше, чем нужно, ибо они подпитывают несправедливость в большей степени, чем того требует государство. Если они платят налог из-за ошибочного понимания налогообложения, или из-за боязни потерять свою собственность, или из страха перед тюрьмой, то это лишь потому, что не рассудили достаточно мудро, позволив своим чувствам переплестись с общественным мнением.

Такова сейчас моя позиция. Но это не означает, что нужно жестко стоять на своей позиции, — необходимо следить, чтобы действия не определялись упрямством или предвзятым отношением к мнению окружающих. Нужно понять, что следует делать только то, что соответствует человеку и данному моменту.

Я думаю иногда: ведь эти люди тоже хотят добра, они просто невежественны, они поступали бы лучше, если бы знали как, — зачем же причинять боль своим ближним, обращаясь с ними так, как они того не желают? Но между тем, я понимаю, что это не причина, чтобы мне поступать так же, как они, или причинять другим различные страдания. И вновь я говорю себе: когда миллионы людей, без всякого умысла, злой воли или какого-либо личного чувства, поддерживают законность претензии на несколько ваших шиллингов и не используют возможность, которую дает им конституция, чтобы отменить или изменить это положение, тем

самым лишая вас возможности апеллировать к другим миллионам, то почему вы должны уступать этой подавляющей грубой силе? Вы не проявляете неповиновение холоду или голоду, ветру или волнам, — вы спокойно воспринимаете тысячи подобных естественных обстоятельств. Вы не сунете голову в огонь. Ибо, в сравнении с тем, о чем я говорил, это не является проявлением грубого насилия, это — естественные вещи, и, как человек, которому все это не безразлично и который не относится ко всем этим миллионам людей как к грубым и неодушевленным предметам, я вижу, что необходимо: во-первых, обратиться к Создателю, и, во-вторых, — к самим себе. Но уж если я сам сую голову в огонь, то нужно только на себя и обижаться, а не предъявлять претензии огню и Создателю. Если я убежден, что необходимо принимать людей такими, какие они есть, а не в соответствии со своими требованиями и желаниями, то, подобно доброму мусульманину и фаталисту, я должен тогда удовольствоваться тем, что есть, и говорить, что такова воля Божья. Конечно, последствия неповиновения могут быть разные, и я не могу, как Орфей, менять природу скал, деревьев и животных.

Я не хочу спорить ни с одним человеком или народом. Я не хочу вдаваться в детали, чтобы проводить тонкие различия или ставить себя выше своих соседей. Я, можно сказать, даже ищу повода, чтобы подчиниться законам страны. Я слишком готов подчиниться им. У меня, действительно, есть причина подозревать себя в этом. Каждый год, при очередной встрече со сборщиком налогов, я готов вновь рассмотреть действия и позицию центрального правительства и правительства штата, сам дух народа и найти основания для подчинения.

К отчизне надобно иметь сыновнее почтение,  
И если мне когда-нибудь случится  
Священным этим долгом пренебречь,  
Пусть это будет только по велению  
Души моей и совести, и веры,  
Но не затем, чтоб выгоды искать [\[19\]](#).

Я верю, что в скором времени государство будет в состоянии принять все мною накопленное, что, впрочем, вряд ли сделает меня большим патриотом на фоне моих соотечественников. С обычной точки зрения большинства, конституция, несмотря на ее огрехи, достаточно хороша; закон и суд весьма почтенны, даже нынешнее американское правительство, как и правительство штата, — замечательные и редкие явления, и за все это следует быть благодарными, но, глядя с несколько более возвышенной точки зрения, они таковы, как я их описал; глядя же с наивысшей позиции, кто может сказать, что они такое, и стоят ли они вообще взгляда и размышления? Однако, правительство не слишком занимает меня, и я не буду тратить на него и нескольких мыслей. Лишь в редкие моменты я жил под властью правительства в этом мире. Человек свободомыслящий, с независимыми взглядами и представлениями, не будет долго обольщаться недолженствующим и несущественным, и недалекие правители и реформаторы не смогут фатально повлиять на него.

Я знаю, что большинство людей думает иначе, чем я, но те, чья профессиональная жизнь посвящена изучению подобных или близких к ним предметов, менее всего согласятся со мной. Государственные деятели и законодатели, полностью находясь внутри организации, никогда не смогут четко и ясно увидеть ее. Они говорят о развивающемся обществе, но не оставляют никакого места для развития. Они могут быть людьми известного опыта и проницательности и

несомненно придумали благородные, хитроумные и даже полезные системы, за которые мы им искренне благодарны, но вся их премудрость и полезность лежит в определенных и не слишком широких пределах. Они хотели бы забыть, что мир управляется не политикой, а разумной необходимостью. Уэбстер<sup>[20]</sup> непоследователен в отношении правительства и поэтому не может авторитетно говорить о нем. Его слова — мудрость для тех законодателей, которые не в состоянии предпринять серьезных реформ в существующем правительстве, но для мыслящих и для тех, кто следует вечным законам, он слишком поверхностен. Я знаю тех, чьи сокровенные и мудрые размышления на эту тему смогли бы быстро проявить пределы и глубину его ума. Однако, по сравнению с низким уровнем большинства реформаторов и столь же легковесной мудростью и красноречием вообще всех политиков, его слова являются единственно разумными и ценными, и мы благодарим Небеса за то, что он есть. По сравнению с другими, он всегда силен, оригинален и, кроме того, практичен. И все же, главное его качество не мудрость, а рассудительность. Истина законников не есть Истина, а только некая логичность или логичная целесообразность. Истина всегда в гармонии с собой и не озабочена установлением справедливости, которая может являть и неправильные действия. Он заслуженно получил имя — Защитник Конституции. Он не наносил ударов, а лишь защищал. Он — последователь, но не лидер. Люди 1787-го<sup>[21]</sup> года не его идеалы. «Я никогда не делал попыток, — говорит он, — нарушить первоначальное соглашение, по которому различные штаты входят в Союз, и никогда не поощрял их». Но все же, размышляя о санкции, которую Конституция дает рабству, он говорит: «Раз это часть первоначального договора, то пусть она остается». Не обольщаясь его особой интуицией и талантом, необходимо отметить, что он не может рассмотреть явление вне его политической стороны и увидеть его со стороны разума или хотя бы рискнуть дать открыто ответ, пусть и невозможный, как частное лицо, например, на такой вопрос: как надлежит сегодня человеку в Америке относиться к рабству? Или на такой: из чего должен быть выведен новый и единственный принцип социального долга? «Способ, — говорит он, — которым правительства штатов, где существует рабство, его регламентируют, руководствуясь ответственностью перед своими избирателями, это: собственное разумение, общие законы собственности, гуманность и справедливость перед лицом Бога. Возникшие где-либо организации, основанные на чувстве человечности, или по другой причине, не должны вмешиваться в это. Они никогда не получали от меня никакой поддержки, да они и не хотят ее».

Те, кто не ведает более чистых источников истины и не может подняться вверх по их течению, придерживаются Библии и Конституции, принося к ним с благоговением и смирением, но те, кто усмотрел, откуда они струятся в это озеро или в этот пруд, препоясывают свои чресла и совершают паломничество вплоть до истоков.

В Америке не появился еще человек с талантом законодателя. Такие люди редки в мировой истории. Есть тысячи ораторов, политиков и просто красноречивых людей, но еще не заговорил тот, кто способен определить самые больные вопросы современности. Мы любим красноречие ради него самого, а не за ту истину, которую оно может открыть, или за тот героизм, который оно может вдохновить. Наши законодатели еще не усвоили всей ценности для народа свободной торговли и свободы, согласия и нравственности. У них не хватает способностей и таланта для сравнительно простых вопросов налогообложения и финансов, торговли, промышленности и сельского хозяйства. Если бы мы руководствовались только премудрыми речами законодателей из Конгресса, без учета повседневного опыта и действенного недовольства народов, Америка не смогла бы сохранить своего места среди других народов. Восемнадцать столетий назад был написан Новый Завет, но, — возможно, у меня и нет права судить об этом, — где же тот законодатель, у которого хватило бы ума и таланта использовать свет, отбрасываемый этим Заветом на науку законодательства?

Сила правительства, — даже такого, которому я с готовностью бы подчинился, такого, которое знает и может действовать лучше, чем я, а уж, тем более, такого, которое не слишком хорошо знает и действует, — совершенно недостаточна, если у правительства нет поддержки и согласия управляемых. У него нет никаких прав на мою личность и собственность, кроме тех, которые я ему передам. Развитие от абсолютной монархии к ограниченной и от ограниченной монархии к демократии — это развитие в направлении подлинного уважения к человеку. Китайский философ (\*) был очень мудр, считая человека основой империи. Является ли демократия, какой мы ее знаем, последним возможным усовершенствованием формы правления? Разве нельзя сделать еще один шаг к признанию и упорядочению прав человека? Никогда не будет подлинно свободного и просвещенного государства до тех пор, пока оно не начнет признавать личность как высшую и независимую силу, из которой слагается могущество государства. Я с восторгом представляю себе государство, которое обращалось бы справедливо со всеми людьми и относилось бы к личности с уважением, как к ближнему, не беспокоясь, что кто-то живет отдельно от него и не участвует в его делах, и, в тоже время, честно выполняло бы все свои обязанности ближнего и соотечественника. Государство, которое выносит подобный плод и терпеливо дождетя его созревания, может приготовить путь для еще более совершенного и удивительного государства, которое я тоже, могу вообразить, но, увы, нигде не наблюдаю.

---

<b>notes</b>
--------------



...«То правительство хорошо, которое правит меньше всего»... — Торо имеет в виду слова Эмерсона из второй серии его «Очерков» (1844): «Чем меньше у нас правительства, тем лучше».

Первая строфа стихотворения английского поэта Чарлза Вулфа (1791–1823) «На погребение сэра Джона Мура» (1817). Перев. И. Козлова.

posse comitatus — свидетели шерифа

...«затыкать дыру, чтобы не дуло»... — В. Шекспир. «Гамлет», V, 1.

В. Шекспир. «Король Иоанн», V, 2. Перев. Н. Рыковой.

Речь идет о мексиканской войне 1846–1848 гг.

Пейли, Уильям (1743–1805) — английский богослов и философ. Из его книги «Принципы моральной и политической философии» (1785).

Пример взят из трактата Цицерона «Об обязанностях».

Лк, IX, 24.

Имеется ввиду съезд демократической партии США, состоявшийся в 1848 году.

Имеются ввиду члены тайного масонского общества «Чудак», возникшего в Англии, а в 1806 г. основанного в США.

Имеется ввиду обстоятельства поездки известного адвоката С. Ховарда в Каролину для защиты прав негров из Массачусетса.

Матф., XXII, 19, 21.

Конфуций. Лунь-юй, XIV, 1.

Речь идет о случае с Торо в июле 1846 г., описанном также в его книге «Уолден, или Жизнь в лесу» (гл. «Поселок»).

Семейная легенда приписывает этот денежный взнос, освободивший Торо из тюрьмы, его теткам.

...«моих темниц» — имеется ввиду книга итальянского поэта-карбонария Сильвио Пеллико (1789–1854) «Мои темницы» (1832).

Из трагедии «Битва при Алькагаре» (1589) английского драматурга Джорджа Пиля. Перев. З. Е. Александровой. «Эстетика американского романтизма». М., 1977.

Уэбстер (Вебстер), Даниэль (1782–1852) — американский государственный деятель, сенатор от штата Массачусетс, госсекретарь (1841–1843 и 1850–1852), прославившийся как оратор. Торо далее цитирует его речь 12 августа 1848 г.

В 1787 г. была принята конституция США.

То есть Конфуций (551–479 гг. до н. э.), в основе учения которого лежит идея подчинения подданных государю.